



ВЛАДИМИР

ПОЗНЕР



Прощание
с иллюзиями

«Поедемте
в Англию»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БИОГРАФИИ

Владимир Владимирович Познер
Прощание с иллюзиями.
«Поедемте в Англию»
Серия «Эксклюзивные биографии»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10265986

*Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию...» / Владимир Познер:
АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-091890-4*

Аннотация

Это не просто мемуары человека с очень сложной, но поистине головокружительной судьбой. Книга интересна тем, что Владимир Познер видел многие крупнейшие события XX века «с разных сторон баррикад» и умеет увлекательно и очень остро рассказать об этом. Но главное – он пытается трезво и непредвзято оценить Россию, Америку и Европу. Эта книга, безусловно, изменит наше отношение к мемуарам, т. к. до этого с такой откровенностью, иронией и глубиной никто не писал о своей жизни, стране и нашей эпохе.

Содержание

«Поедемте в Англию...»

5

Конец ознакомительного фрагмента.

42

**Владимир
Владимирович Познер
Прощание с иллюзиями.
«Поедемте в Англию...»**

ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

«Поедемте в Англию...»

Два человека привили мне любовь к литературе. Первый – моя мама, она начала читать мне вслух, когда мне было два или три года. Первая книга, запомнившаяся в ее исполнении, – история о быке Фердинанде, который родился в Испании и должен был стать свирепым быком для корриды. Но Фердинанд больше всего любил сидеть в тени пробкового дерева и просто нюхать цветы. Сколько ни старались сделать из него быка-страшилу, ничего не получилось, и книга заканчивается словами: «Насколько мне известно, Фердинанд все еще сидит в тени своего любимого пробкового дерева и просто нюхает цветы». Книгу эту я обожал, она до сих пор стоит у меня на полке, занимая почетное место среди тысячи других...

Вторым человеком, привившим мне любовь к чтению, была библиотекарь «Сити энд Кантри», моей школы в Нью-Йорке, о ней я уже писал.

В детстве я не особенно любил поэзию, если не считать стихов «Матушки Гусыни» да книжек А. А. Милна (автора «Винни-Пуха») «Когда мы были очень маленькими» и «Теперь нам шесть». Я заинтересовался поэзией лет в семнадцать-восемнадцать, когда начал учиться по программе советской средней школы. Так я познакомился с Пушкиным и Лермонтовым, Тютчевым и Некрасовым, Баратын-

ским и Фетом, да и со многими другими.

Мне повезло, что я стал читать их так поздно, уже имея возможность хотя бы приблизительно понять этих авторов – в отличие от тех учащихся, которые «проходили» их в четырнадцать-шестнадцать лет. Кроме того, я читал, не следуя никаким программам, читал так, как читалось, не впадая ни в дидактику, ни в политическое толкование, которыми отличалась да и продолжает грешить советская школа. Никто не внушал мне, что следует понимать «Медного всадника» так или этак, никто не предупреждал меня о том, что, читая Фета, я должен помнить, как жестоко он обращался со своими крепостными. Я просто читал и наслаждался прекрасной, величайшей поэзией.

Это первое знакомство с поэзией – в данном случае русской – возбудило мой аппетит и подготовило меня к встрече с поэзией английской, сыгравшей не очевидную, но решающую роль в моей жизни.

Как правило, вспоминая события, приведшие нас к тому или иному итогу, мы не можем восстановить их в первичной, строгой последовательности. Но в этом смысле мой случай представляет собой исключение... Я обожал Хемингуэя, особенно его рассказы, однако в то время еще не читал «По ком звонит колокол» (замечу, что этот роман долго не переводился на русский язык из-за того, что в нем Хем довольно жестко и безо всякой симпатии описал роль и действия коммунистов и, в частности, Михаила Кольцова,

в испанской гражданской войне). Пока мы жили в Америке, я был еще мал для этой книги, в Германии она не попала мне на глаза, а вот в Москве, вскоре после нашего приезда, в замечательнейшем букинистическом магазине иностранных книг на улице Герцена (ныне Большая Никитская), я набрел на американское издание романа и впился в него, как клещ.

* * *

Магазина больше нет. Часто, проходя мимо того места, где он располагался и где вместо него сверкает витриной бутик модной одежды, я думаю о тех прохожих, для которых этой книжной лавки никогда и не было. Их мне почему-то жалко.

* * *

Открыв первую страницу, я увидел эпиграф – это была цитата из одной Медитации английского поэта шестнадцатого-семнадцатого веков Джона Донна, ставшего священником. «Человек – не *Остров*, достаточный сам по себе; каждый человек – кусок *Континента*, часть *Суши*; если *Море* смост *горсть* земли, *Европа* станет меньше, как и в случае, если бы это был *Мыс*, или *Жилище* друзей твоих, или *твое*

собственное; смерть любого человека уменьшает меня, потому что я – часть *Человечества*; И поэтому никогда не посылай узнавать, по ком звонит *колокол*; Он звонит по *тебе*. Эти слова потрясли меня. Это были *мои* слова, это были *мои* мысли, Донн сказал то, что хотел сказать я, но *как* сказал!

Книжку я прочитал с огромным удовольствием (я и сегодня считаю, что это великий роман), но я все спрашивал себя: а кто же такой этот Джон Донн? За ответом я вновь отправился в букинистический, напротив Консерватории.

Это было удивительное место, сокровищница великолепнейших изданий иностранных книг; среди них встречались настоящие раритеты, вероятнее всего, конфискованные у арестованных «бывших», либо принесенные арбатскими старушками, которым каким-то чудом удалось выжить, несмотря на революцию и сталинский террор.

Милые старушки, выросшие в окружении французских бонн и английских воспитателей; трогательные старушечки, носившие потрепанные, но все еще утонченные платья давнего прошлого, отороченные у шеи и на запястьях белыми кружевами, и шляпки с вуалетками; старушечки, которые щебетали, словно птички в клетке; маленькие, ломкие старушки, вечно недоедавшие, копившие жалкие гроши и постепенно распродававшие все то, что осталось с «тех времен», в том числе замечательные книги. Их можно было купить задешево, ими мало кто интересовался.

Помню, как я напал на полное собрание сочинений Шекс-

пира в одном томе в великолепном кожаном переплете, и заплатил за него восемьдесят рублей – порядка десяти долларов в сегодняшнем исчислении. Там же я купил совершенно изумительный однотомник сочинений Байрона 1837 года с исключительными по красоте гравюрами. Стоил он пятьдесят рублей.

Магазином управляли две дамы – одна стояла за прилавком на первом этаже, другая оценивала книги, которые приносили на комиссию. С последней я общался редко. А дама с первого этажа была личностью выдающейся. Внешне она напоминала цыганку-волшебницу из какого-нибудь божьего сказания. Ее черные волосы, кое-где пронизанные сединой, всегда были затянуты назад и завязаны в узел, что позволяло разглядеть ее довольно большие уши, неизменно украшенные гигантскими серьгами. Черные продолговатые глаза тонко обрисовывали две дуги бровей, которые шли, не прерываясь, от одного виска до другого – так дети рисуют чаек. У нее был крупный с горбинкой нос, столь же выразительный, сколь аристократический, и маленький с тонкими губами рот. Она свободно говорила по-французски; когда мы с мамой впервые забрели в ее царство и она услышала, что мы общаемся между собой на этом языке, то сразу выделила нам VIP-место среди клиентов. В те времена современные иностранные книги, особенно триллеры и детективы, были на вес золота.

Не будем забывать, что с точки зрения властей подобная

«макулатура» представляла собой пример буржуазного декаданса, недостойного внимания строителя социализма. Такие книжонки не были запрещены, но вместе с тем их продажа не поощрялась. Поэтому они никогда не появлялись на прилавках, но когда хорошо знакомая клиентура приносила на продажу карманное издание Агаты Кристи или Эрла Стэнли Гарднера, дама второго этажа книжку принимала, ставила цену и тихо-тихо передавала ее даме первого этажа, а та уже продавала ее из-под прилавка какому-либо хорошо знакомому клиенту за стандартную цену в пятьдесят рублей.

– *Voulez-vous quelque chose d’interessant?*¹ – говорила она мне низким, заговорщическим голосом, опускалась прилавком и выныривала оттуда, держа в руке полузапрещенное издание. – *Regardez*², – шептала она, скрывая книжку от чужих глаз, и быстрым движением обнажала обложку последнего романа крутого Микки Спиллейна.

В общем, именно здесь я нашел и купил роман Хемингуэя, и именно сюда я отправился в поисках Джона Донна...

Как описать то, что испытал я, когда впервые прочел... Впрочем, нет, прежде чем продолжить, я вынужден сделать отступление.

Всякий перевод художественной литературы в конечном счете тщетен, но это особенно верно в отношении стихов. Начнем с того, что оригинал не стареет – язык меняется,

¹ Хотите увидеть кое-что интересное? (франц.)

² Посмотрите (франц.).

но оригинал остается таким, каким родился. Язык, на котором писал Пушкин, сильно изменился, но никому не придет в голову переписать Пушкина «посовременнее». Перевод же неизменно и неизбежно устаревает. Невозможно сегодня читать переводы с французского или английского Щепкиной-Куперник, хотя в свое время они были очень хороши. По каким-то особым закономерностям язык перевода, в отличие от языка оригинала, устаревает, требует нового исполнения. Таким образом, получается, что человек, который ломал голову и мучительно находил соответствие оригиналу, делал это безо всякой надежды на то, что его перевод останется рядом с оригиналом на века.

Но это не все. Строй и музыку оригинала абсолютно невозможно повторить, передать в переводе – ведь это *другой* язык. В английском множество односложных слов, что придает языку энергию, лаконичность. В английском стихосложении чаще всего встречаются рифмы мужские с ударением на последнем слоге. В русском, напротив, односложных слов мало, чаще используется женская рифма – отсюда другая ритмика, другая музыка. Пример? Семьдесят четвертый сонет Шекспира. Возьмем первые четыре строчки оригинала:

*But be contented; when that fell arrest
Without all bail shall carry me away,
My life hath in this line some interest,
Which for memorial still with thee shall stay.*

Всего в этих стихах тридцать слов, из них двадцать три – односложные. Буквальный (не поэтический) перевод звучит так: «Но будь довольной; когда этот подлый арест Без выкупа меня унесет, Моя жизнь имеет в этой строке некоторый интерес, Который останется с тобой, как памятник».

Теперь прочтите эти строчки в переводе Самуила Яковлевича Маршака, одного из лучших переводчиков Шекспира, единственного, если мне не изменяет память, кто перевел все сто пятьдесят четыре сонета великого Барда:

*Когда меня отправят под арест,
Без выкупа, залога иль отсрочки,
Не камня глыба, не могильный крест –
Мне памятником будут эти строчки.*

У Маршака всего двадцать одно слово, но при этом лишь шесть односложных. У Шекспира все рифмы мужские, у Маршака – две мужские, две женские. Оригинал и перевод написаны ямбом, но только это их и роднит. Музыка английского языка звучит совершенно отлично от музыки русского. Перевод Маршака превосходен, но... Вот это «но» верно для любого перевода, тем более для того, который я хочу представить вашему вниманию.

Вернемся к моей цыганке-волшебнице, нашедшей для меня томик Джона Донна. Я открыл его и набрел на следующие строки:

*Busy old foole, unruly Sunny,
Why dost thou thus,
Through windowes, and through curtaines call on us?
Must to thy motions lovers seasons run?*

Дословно:

*Старый дурень деловой, непокорное Солнце,
Почему ты таким образом,
Сквозь окна и сквозь занавески навещаешь нас?
Должны ли времена любовников
следовать твоему ходу?*

В Донна я влюбился сразу и навсегда. Он привел меня к Шекспиру, к Чосеру, к Бену Джонсону, к Блейку и Баньюну, к Худу, Муру, Китсу, Шелли и Байрону, наконец, к Йейтсу, к Эмили Дикинсон и Дилану Томасу.

Наступил момент, когда я понял окончательно и бесповоротно: биологом-ученым я не стану, и все мое свободное время стало уходить на переводы поэтов елизаветинского периода. Последние два года учебы были посвящены дипломной работе на тему «О дыхательном центре у костистых рыб». В течение долгих часов я вводил электроды в определенные участки мозга карпов и затем следил за вспышками на экране осциллографа, одновременно пытаясь найти русский эквивалент словам:

*Blasted with sighs, and surrounded with tears,
Hither I come to seek the spring,
And at mine eyes, and at mine eares,
Receive such balmes, as else cure everything.*

Дословно:

*Вздохами взорван, слезьми окружен,
Иду сюда искать ручей,
И своими глазами, и своими ушами
Получить такой бальзам,
что вылечивает все другое.*

За те два года я стал чрезвычайно популярен в общежитии биофака. Уж не знаю, скольких я извел карпов во имя науки, но многие мои сокурсники рассчитывали на меня как на поставщика свежайшей и вкуснейшей рыбы, которой в магазинах не было никогда.



Катечке три года. Зима 1963 г.

Мою дипломную работу оценили на «отлично», и я даже получил предложение поступить в аспирантуру, но отказался, чем очень огорчил своих родителей.

По законам того времени меня ожидало распределение – своего рода трехлетняя отработка за пять лет бесплатной учебы, которую предоставляло государство. Закон, однако, диктовал одно, а реальность – другое. Часто случалось так, что вуз предлагал место, которого на самом деле не было, а выпускник соглашался, понимая при этом, что работать там не будет ни одного дня. Волки оставались сытыми и овцы целыми. Когда я отказался от аспирантуры, мне официально предложили место в институте научной и технической информации. Я подписал соответствующую бумагу лишь тогда, когда мне сообщили (разумеется, не официально), что на самом деле в Институте нет мест, – ведь я не собирался зарабатывать на жизнь переводами с русского на английский и, наоборот, научных статей о достижениях в биологии. Я выполнил все, что было предписано: дал письменное согласие на работу, получил письменный отказ от института и стал свободным – а заодно и одним из очень немногих безработных в Советском Союзе.



Она же. Лето того же года.

Тем не менее начал зарабатывать я именно переводами медицинских и биологических текстов с русского на английский – безо всякого удовольствия, правда. Но платили за это значительно больше, чем за переводы с английского на рус-

ский. Зарабатывать же было необходимо: к этому времени я был уже и мужем, и отцом. Я упоминал, что, учась на пятом курсе МГУ, женился на Валентине Чемберджи, студентке пятого курса классического отделения филологического факультета; спустя два года родилась наша дочь Катя. Как и подавляющее большинство молодоженов в стране социализма, мы не имели своего жилья и должны были сделать выбор между квартирой моих родителей или ее матери. Тридцать лет тому назад проблема жилья стояла столь же остро, как и сегодня. Меня всегда поражает, что серьезные люди в России удивляются большому у количеству разводов и пожимают плечами, если просишь их объяснить причины такой ситуации. Я не сомневаюсь, что именно квартирный вопрос фигурирует среди главных причин... Итак, я переехал в квартиру матери Валентины, Зары Александровны Левиной, известной талантливой пианистки и композитора.

Как описать Зару Левину? Я назвал бы ее явлением природы, своего рода Антеем, она, как и он, черпала свою силу из Земли, жила так, как ей подсказывало собственное нутро – и только. Ела, когда хотелось есть, спала, когда хотелось спать, и совершенно игнорировала так называемые общепринятые нормы и правила поведения. У нее были белые, крепкие зубы (не знаю, ставила ли она за жизнь хоть одну пломбу) и волосы, подобные львиной гриве – густые, блестящие, необыкновенно красивые. Она выглядела так, словно только что вышла из самого модного салона красоты –

при этом утром раза два проходила расческой по волосам. Она отличалась необыкновенной гибкостью, хотя и была в теле (ко всем диетам Зара Александровна относилась с плохо скрываемым презрением, равно как и ко всем «можно» и «нельзя») и двигалась легко и грациозно. Спотыкаясь или падая, что бывает со всеми, она почти никогда не ушибалась, не говоря о переломах, потому что падала так, как падают кошки или обученные каскадеры – не напрягая мышц, расслабленно. Она олицетворяла собой типичного рассеянного профессора. Так, например, могла засунуть свои очки в холодильник вместо масла, а потом провести большую часть дня в их поисках, тихо кляня недоброжелателей, которым нечего делать, кроме как прятать ее несчастные очки. Однажды в тот момент, когда она ела бутерброд, раздался телефонный звонок. Зара Александровна схватила трубку, приложила бутерброд с колбасой к уху и сказала: «Слушаю».

В ней сочеталось все. Она могла быть обворожительной и необыкновенно смешной, но могла быть и абсолютно невыносимой. Она была подозрительной, страстной, эгоцентричной, высокомерной, непредсказуемой, несправедливой; а также доброй, щедрой, преданной, открытой – словом, настоящий коктейль. Но прежде всего и главным образом она была талантливой. И именно благодаря ей, прочитавшей без моего ведома некоторые мои пробы пера в области перевода и передавшей их Самуилу Яковлевичу Маршаку, я познакомился с этим корифеем поэтического перевода и дет-

ской литературы.

* * *

Я проработал у Самуила Яковлевича два с половиной года и ни разу не слышал от него ни одного слова о том, что его первые поэтические опыты были связаны с увлечением сионизмом. Он мне рассказывал, что выдающийся русский критик В. В. Стасов познакомил его со Львом Толстым, что все тот же Стасов оказывал ему, еще совсем юному поэту, всяческую поддержку, но при этом не упомянул, что первое его опубликованное стихотворение, получившее горячее одобрение Стасова, называлось «Двадцатого Таммуза» и посвящалось смерти основоположника идей сионизма Теодора Герцля в 1904 году (Маршаку было семнадцать лет). Оказалось, что вплоть до 1920 года тема трагедии израильского народа являлась основной в творчестве поэта, а потом... А потом она исчезла. Не трудно догадаться, почему, учитывая разгул санкционированного антисемитизма в Советском Союзе и введение паспортов с пресловутым «пятым пунктом». Я даже не могу себе представить, что думал и чувствовал Маршак, когда развязали кампанию против «безродных космополитов» (читай: евреев), расстреляли всю головку Еврейского антифашистского комитета, затеяли дело врачей... Порой вспоминаю замечательные строчки из его стихотворения «Цирк»:

*По проволоке дама
Идет, как телеграмма.*

Какой же эквилибристикой должен был заниматься Самуил Яковлевич, чтобы ни разу и нигде ничего не написать о «главном друге детей» Сталине, но находить блестящие, на мой взгляд, патриотические слова:

*Бьемся отчаянно,
Рубимся здорово!
Дети Чапаева,
Внуки Суворова.*

Чем больше я думаю над его вынужденным молчанием о том, что, возможно, было ближе всего его сердцу, тем мне очевидней: Маршак – не просто выдающийся детский писатель, переводчик и поэт, Маршак – совершенно уникальная фигура, по сей день не в полной мере понятая и оцененная в собственной стране.

** * **

Маршак прославился прежде всего своими переводами из Роберта Бернса. Можно спорить о том, насколько эти переводы точны, насколько они близки к оригиналу. Но вот о чем спорить невозможно, так это о том, что только благо-

даря Маршаку Бернс стал русским поэтом, вернее, частью русской культуры. Помимо Бернса Самуил Яковлевич переводил и множество других поэтов, в том числе английских (Шекспира, Китса, Шелли, Блейка, Кипплинга и т. д.). Маршак стал при жизни классиком, так что вы можете представить себе мое возбуждение, когда однажды у меня дома раздался телефонный звонок:

– Владимир Владимирович? – Голос был женский, старушечий, скрипучий.

– Да.

– Я звоню вам от Самуила Яковлевича Маршака. Он хочет, чтобы вы пришли к нему.

Я совершенно обалдел.

– Алло?! Вы слышите меня?

– Да, извините, а как вас зовут?

– Розалия Ивановна, хотя это не имеет значения. Так вы придете?..

Приду ли я на зов Маршака? Да все злые силы мира не смогли бы остановить меня!

Маршак жил на улице Качалова, напротив Курского вокзала. Дверь мне открыла та самая Розалия Ивановна, как я потом узнал, рижская немка, которой было хорошо за семьдесят и которая большую часть своей жизни служила Маршаку экономкой.

* * *

Я так и не узнал, каким образом эти два ни в чем не похожих друг на друга человека встретились, однако узнал вот что: Самуил Яковлевич спас Розалию Ивановну жизнь, когда началась война. Он каким-то образом вывез ее из Риги и устроил у себя в Москве.

* * *

Она никогда не улыбалась, была всегда и всем недовольна, но в особой степени была недовольна Самуилом Яковлевичем, о чем извещала желавших и не желавших слышать об этом своим высоким скрипучим голосом. Между ними установились отношения, которые по Фрейду назывались бы «любовь/ненависть», но не имели даже оттенка отношений между женщиной и женщиной. Розалия Ивановна являлась свидетелем всех его триумфов и бед – кончины жены, смерти от туберкулеза любимого младшего сына-математика, двадцатилетнего Яши. Она знала его насквозь и считала своим долгом быть его поводырем, чтобы он не сбился с пути истинного. По-моему, он был глубоко к ней привязан, но вместе с тем его страшно раздражали ее назидания и пристаивания. Оба они отличались вспыльчивостью, и я не раз стано-

вился свидетелем сцен вполне безобразных с оскорблениями и обзыванием. Бедная Розалия Ивановна безнадежно проигрывала ему в этих состязаниях. Она отдавала себе в этом отчет и поэтому упорно, точнее, с тевтонской последовательностью, повторяла одно и то же заклинание: «старый дурень». Она говорила эти слова вновь и вновь, а он отвечал ей творчески: «Мадам Прыг-Прыг», «Гитлер в юбке», «Недописанная трагедия Шекспира»...

Впрочем, все это я узнал позже. В тот же первый день, помню, меня потрясла библиотека Маршака. Я никогда не видал такого количества книг. Они были повсюду, занимали все стены от пола до потолка, стояли стопками на столах, царили, завоевав и подчинив себе пространство. Пока я глазел, из своего кабинета вышел мне навстречу Маршак. Я хорошо знал его по фотографиям, которые печатались в газетах и журналах, и ожидал увидеть довольно полного и крепкого мужчину среднего роста. Увидел же человека совсем маленького – не выше ста шестидесяти пяти сантиметров – и почти тщедушного. И на этом тщедушном теле восседала крупная львиная голова. Из-за толстых стекол очков меня внимательно разглядывали маленькие серо-зеленые глаза. Они смотрели с любопытством, но потом я узнал, что они могли быть и с хитринкой либо со смешинкой, а иногда даже полыхали гневом. Когда Самуил Яковлевич сердился, у него раздувались ноздри, и воздух выходил из них с таким свистом, что я ожидал увидеть след за этим пла-

мя, как у настоящего дракона. У Маршака были необыкновенного размера уши – большие, в морщинках, как у слона. Мне казалось, что на ощупь они должны быть теплыми и шершавыми – не раз я хотел дотронуться до них, но так и не набрался смелости... Лицо его испещрили следы старости – оно и в самом деле напоминало мне морду слона. Мудрое, милое лицо.

Поздоровавшись со мной, Самуил Яковлевич сказал, что прочитал мои переводы, что у меня есть определенные способности, однако мне еще надо многому научиться, много потрудиться. И вот, сказал он, если я соглашусь стать его литературным секретарем (то есть отвечать на письма, которые он получал, по-английски и по-французски, а также записывать под диктовку его ответы на письма русские), то он готов позаниматься со мной, научить меня кое-чему и, если я окажусь того достоин, помочь мне напечататься. Я был в полном восторге и тут же согласился. Это была моя аспирантура в самой привилегированной школе мира. Я находился в постоянном контакте с культурным динозавром, с представителем вымирающего рода. Ведь детство и отрочество Маршака прошли в дореволюционной России. Его мальчишкой Стасов представил Льву Толстому. Он учился в Лондонском университете и, вернувшись, общался с иконами Серебряного века. Он пережил революции семнадцатого года, был свидетелем потрясений мира искусств и литературы, которые породили неслыханную череду великих писа-

телей, драматургов, режиссеров театра и кино, художников и архитекторов. Первые два с половиной десятилетия русского двадцатого века напоминают ослепительный карнавал, и небеса над ним освещены невиданным по яркости фейерверком. Каждый огонек – фамилия, которую любая страна с гордостью приписала бы себе: Ахматова, Блок, Цветаева, Есенин, Маяковский, Сутин, Шагал, Кандинский, Петров-Водкин, Филонов, Серебрякова, Лисицкий, Татлин, Эйзенштейн, Вертов, Таиров, Мейерхольд, Вахтангов, Станиславский, Мандельштам, Зощенко, Булгаков, Прокофьев, Шостакович – бесконечный список гениев, поразивших мир своими открытиями. Кто знает, как и почему происходят такие извержения талантов? Отчего это случилось в Англии времен королевы Елизаветы? Что стало причиной Возрождения в Италии? Как объяснить золотой век Древней Греции? Из-за чего Рим оказался Римом? Какие закономерности привели к рождению великой литературы Франции? Мы не знаем этого и, даст бог, никогда знать не будем. Но какое же счастье – присутствовать при сем! И Маршак познал такое счастье.

Он же стал свидетелем уничтожения этого великолепия в сталинские годы, обезглавливания интеллектуального и художественного сообщества страны. Все это он видел, и память его хранила бесконечно много.

На самом деле Маршак был одинок. Он – трагическая личность другого времени, и происходящее могло восприни-

маться им лишь чувством омерзения. Свое одиночество он преодолевал, постоянно окружая себя людьми – редакторами, начинающими поэтами, подающими надежды переводчиками, журналистами. С одной стороны, он постоянно жаловался на то, что ему не дают покоя люди, которых не заботит его здоровье и почтенный возраст; с другой, он делал все необходимое, чтобы не умолкал телефон и не прерывался поток посетителей. Стоило этому потоку замедлиться или уменьшиться, и он становился раздражительным, недовольным.

Самуил Яковлевич обожал рассказывать, а я был благодарным слушателем. Благодаря ему я прошел совершенно новый курс русской литературы и русской истории. Я начал перечитывать писателей, с которыми познакомился, еще когда готовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Но теперь я читал иначе, заново открывая для себя Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Я также знакомился с литераторами, о которых прежде не слыхал, с теми, чьи фамилии не встречались в учебниках, чьи книги были запрещены и хранились лишь в спецфондах библиотек. С точки зрения советского общества их не существовало. Однако среди них встречались писатели выдающиеся, такие как Булгаков, Платонов, Бабель и Зощенко. Были и менее значимые, но они помогли мне понять, что произошло в России в начале двадцатого века, составить представление о течениях, которые в конце концов привели к падению династии Романовых.

вых. Этих книг не продавали в магазинах, а для того, чтобы читать их в библиотеках, требовались особые разрешения. Но у Маршака они были.

Самуил Яковлевич являлся не только блестящим переводчиком и писателем, он был своего рода культурным магнитом, втягивавшим в свою орбиту совсем еще молодых Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину и прочих. Он близко дружил с Александром Трифоновичем Твардовским, которого считал великим поэтом. Занявший прочное место в пантеоне русской поэзии благодаря своему «Василию Теркину», Твардовский в те годы работал главным редактором журнала «Новый мир», где опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Как человек, родившийся и выросший не в России, человек, который постигал Россию и ее культуру не изнутри, не естественным путем, не как нечто само собою разумеющееся, а как явление, хотя и притягательное, но чужое, я много размышлял над тем, что есть «русскость»? Какое сочетание черт формирует русского? Или, скажем, грузина, француза, американца? Перечисление черт не приносит ровно никакого результата, поскольку оказывается, что они есть у всех. И тем не менее их вполне причудливое и, я бы даже сказал, таинственное переплетение дает в итоге то, что простым перечислением невозможно определить. Из всех знакомых мне литературных героев самый русский – Василий Теркин. Это мое субъективное восприятие, но это так. Он для ме-

ня гораздо более русский, чем такие сказочные и, следовательно, народные фигуры, как Иван-дурак, Илья Муромец и прочие. Теркин для меня вполне легендарен в смысле его обобщенного образа русского человека.

Твардовского открыл Маршак. Это было в тридцатых годах – деревенский парень со Смоленщины, в лаптях, пешком дошел до Москвы. Он явился к Маршаку, держа в одной руке завернутые в материнский платок продукты, а в другой – исписанную химическим карандашом ученическую тетрадку; пришел к Маршаку потому лишь, что с детства знал его фамилию, читал его книжки. Как поведал мне Самуил Яковлевич, он чуть не свалился со стула, когда начал читать «каракули» этого неотесанного мужика. Это были, по его словам, замечательные стихи, подобных которым он уже давно не встречал.

Маршак не мог наговориться, рассказывая о гениальной простоте поэзии Твардовского, о сочном народном языке, о его выразительности.

Чаще всего Самуил Яковлевич приводил в качестве примера вот эти строчки:

*Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.*

И в самом деле, точнее не скажешь, за несколькими словами возникает целая картина. Просто? Да. И непереводаимо. Как, в частности, непереводим Пушкин – не в том смысле, о котором я уже писал, а в своей простоте. Самое короткое расстояние между двумя точками – прямая линия. Ее не улучшишь, ее по-другому не изложишь. Я читал множество переводов Пушкина на английском языке, и не было ни одного, который хоть в чем-то напоминал его. Все слишком просто, слишком гениально. Сравниваю ли я Твардовского с Пушкиным? Нет, конечно. Но отношусь с презрением к снобам, которые смотрят на Твардовского свысока, считая его слишком доступным, недостаточно элитарным, понятным и без ученой степени. Смех, да и только! Самое великое искусство просто, как Эверест, как океан, как огонь. В простоте той – красота, мощь, бессмертие и непостижимая сложность.

Твардовский нередко заходил к Маршаку, и мне было позволено сидеть тихо в углу и слушать их беседы. Как и большинство советских людей, Александр Трифонович в свое время восхищался Сталиным и безмерно верил ему. Но в отличие от многих, он сам же подверг эту веру сомнениям. В результате родилась поразительная поэма «За далью даль». Самое первое чтение этой работы, еще в рукописи, состоялось в кабинете Самуила Яковлевича, и я имел счастье присутствовать при нем. Это лишь один из множества примеров

того, какими уникальными были мои обстоятельства, благодаря которым я имел возможность непосредственно слышать и слушать литературу и рассуждения корифеев того времени.

Кроме того, мне позволялось находиться в «лаборатории» Маршака, в его кабинете, когда он писал. Я был свидетелем того, как он работал, как раз за разом правил, перечеркивал, начинал с начала и вновь перечеркивал. Писательство – дело трудное, это знают все, это, так сказать, общее место; но чтобы понять, насколько оно трудное, надо увидеть муки сидящего за столом. Маршак садился за стол в девять утра и выходил из-за него в девять вечера, он работал как одержимый, доводя себя до полного изнеможения в поисках точного слова, точной рифмы. Самуил Яковлевич уже был на литературном олимпе, ему не требовалось никому ничего доказывать, все, что он писал, печаталось без разговоров. Словом, он мог не стараться. А он трудился на пределе своих возможностей. Художник иначе не может, художник – это... Нет, я и пробовать не буду дать определение, тем более, что это уже сделано бесподобно и точно Уильямом Фолкнером:

«Говоря о художнике, я, конечно, подразумеваю всех тех, кто попытался создать нечто такое, чего до них не существовало, создать лишь с помощью тех инструментов и того материала, которые принадлежат человеческому духу и потому не продаваемы; тех, кто, неважно как, неумело, попытался вырезать на стене окончательного забвения языком духа че-

ловеческого: «Здесь был Вася».

Это, главным образом, и, как мне кажется, по сути дела и есть все, что мы когда-либо пытались сделать. И я полагаю, мы все согласимся с тем, что мы провалились. Что созданное нами не дотягивало и никогда не дотянет до формы, до идеальной мечты, которую мы получили в наследство, которая подгоняла нас и будет подгонять дальше, даже после каждого провала, до тех пор, пока мука нас отпустит и рука, наконец, упадет и замрет». Эта мука не была чужда Маршаку. Ему потребовалось двадцать лет, чтобы перевести сонеты Шекспира, но мне доподлинно известно: когда эта работа была опубликована и встречена восторженно критикой и читателями, он страдал от осознания того, что не «дотянул» до идеала.

Он был одинок. Потеря младшего сына оказалась невозполнимой, а отношения со старшим складывались не лучшим образом. Жена его, Софья, давно скончалась. Женщина, которую он любил, — как я понимал, любил очень давно, — была замужем. К моменту моего появления в доме Маршака у нее нашли рак. Нет ничего удивительного в том, что в этих обстоятельствах Самуил Яковлевич нуждался в близком человеке, и волею судеб им стал я.

* * *

Речь идет о Тамаре Григорьевне Габбе, авторе, в частности, ставших классическими детских пьес «Волшебные

кольца Альманзора» и «Город Мастеров». Время от времени она навещала Маршака, и я видел, как светлело его лицо, как блеск появлялся в его глазах. «Надо же, — думал я, — человек такой старый, а испытывает любовь». А ему тогда было меньше лет, чем мне сегодня...

* * *

Маршак всегда разговаривал со мной как с ровней, называл только по имени-отчеству, никогда не тыкал, понимая, что подчеркивал бы этим свое превосходство.

Он был заядлым курильщиком и, несмотря на слабые легкие, выкуривал две-три пачки сигарет в день. Нередко он болел воспалением легких и, как только поднималась температура, начинал бредить. Он всегда требовал, чтобы во время болезни я сидел около его постели — до сих пор не понимаю, почему он выбрал именно меня. Как-то, приходя в себя после очередного подъема температуры, Самуил Яковлевич посмотрел на меня печально и слабым голосом предложил:

— Эх, Владимир Владимирович, поедemте в Англию.

Мне, абсолютно невыезжному, показалось, что он все еще бредит.

— Конечно, поедem, Самуил Яковлевич, — ответил я.

— Когда приедem, — абсолютно серьезно продолжал он, — мы купим конный выезд.

Я согласно кивнул.

– И вы, Владимир Владимирович, будете сидеть на козлах и привлекать всех красивых молодых женщин.

– Договорились, Самуил Яковлевич.

– Но внутри, – он взглянул на меня с хитрецей, – буду сидеть я, потому что вы, мой дорогой, совершенно не понимаете, как надо обращаться с красивыми женщинами!

Типичный Маршак.

Одновременно я корпел над своими переводами, иногда отдавая их на суд мастера. И вот однажды, прочитав несколько моих последних опусов, он сказал:

– Вот это можно печатать. Если хотите, могу кое-куда позвонить.

Я был вне себя от радости, но гордость взяла верх:

– Спасибо, Самуил Яковлевич, я сам. Главное то, что переводы вам понравились.

Гордость гордостью, но я был хитер и подл. Я перепечатал на машинке отмеченные Маршаком переводы (два из Донна, два из Блейка), а потом добавил к ним четыре маршак-овских – разумеется, не из Роберта Бернса, бывшего у всех на слуху, а из Киплинга, Шелли, Китса и Браунинга. Вооружившись всем этим, я отправился в «Новый мир» к заведующей отделом поэзии. Меня там не знал решительно никто, я явился с улицы в самый престижный журнал страны с намерением опубликовать в нем свои труды. Заведующая отделом поэзии, женщина в литературных кругах известная главным образом потому, что муж ее был весьма «встроен-

ным» литературным критиком, посмотрела на меня как солдат на вошь и сказала, что мои переводы не представляют интереса для журнала (и это не читая их). Я стал просить ее все-таки найти время, хоть одним глазком посмотреть на мою работу, и она, скорчив усталую и кислую гримасу, сказала, чтобы я оставил свою «писанину» и позвонил через неделю. Через неделю я вернулся в редакцию и спросил о ее впечатлениях.

– Серятина, – ответила она.

– Жаль, – вздохнул я. – Неужели ни один перевод из восьми вам не понравился?

– Нет, все это малоинтересно. И вообще, извините за прямоту, но вряд ли вам следует заниматься переводами.

– Ну что вы, – сказал я, – напротив, я вам очень признателен, даже не могу передать, как.

Она посмотрела на меня с удивлением:

– Я что-то не понимаю вас...

– Видите ли, – торжествуя, пояснил я, – вот эти четыре перевода, – я показал ей четыре листа бумаги, – принадлежат мне, а вот эти четыре, – я вытащил другие четыре страницы, – принадлежат Маршаку. И то, что вы не смогли различить мои переводы и переводы великого мастера, – это, знаете ли, огромный для меня комплимент.

Нужно ли описывать истерический скандал, который последовал за этим? Стоит ли говорить, что мои переводы никогда не публиковались в «Новом мире»?

* * *

Моей «благодетельницей» была Софья Григорьевна Караганова, жена известного тогда литературного и кинокритика Александра Васильевича Караганова.

* * *

На меня пожаловались Маршаку, который страшно возмутился и устроил мне головомойку, но при этом не смог удержаться от смеха.

— Я понимал, что я вас многому научил, — сказал он, и в его серо-зеленых глазах заиграла смешинка, — но не знал, что вы научились переводить не хуже меня.

Переводчик художественной литературы, переводчик поэзии — творец, да не совсем. Он зажигается от искры, но не высекает ее. Он заранее знает, что не дотянет, что потерпит поражение. Он понимает: то, что поэтическая воленость позволяет на одном языке, совершенно недопустимо на другом. Вот пример из Уильяма Блейка:

*Tiger! Tiger! Burning bright
In the forests of the night.*

Присмотритесь к этому образу:

*Тигр! Тигр! Ярко горящий
В лесах ночи.*

Я вас спрашиваю, может ли тигр ярко гореть? Разве не хочется обратиться к Уильяму Блейку: «Слушай, Билл, может, ты перебрал вчера? Ты вообще-то соображаешь, что, во-первых, в Англии нет тигров, и во-вторых, тигры не горят?» Но вся беда в том, что у Блейка тигр горит, таково волшебство его языка, и когда читаешь по-английски, это не вызывает никакого удивления, напротив, только восторг. Но как же передать это по-русски? Оставим в стороне рифму и размер, бог с ними, просто подскажите ради всего святого, как же перевести на русский «Тигр! Тигр! Ярко горящий», чтобы не казаться полным идиотом? Способ существует один-единственный: нужно суметь пропустить образ оригинала через призму другого языка – то, что выйдет, будет выглядеть иначе, но если это сделано мастером, позволит почувствовать силу оригинала:

*Тигр! Тигр! Светло горящий
В темноте полночной чащи.*

Перевод Маришака

Конечно, тигр не горит, горят холодным светлым огнем его глаза, и горят они оттого ярче и страшнее, что он, тигр, затаился в полночь в густой лесной чаще...

Браться за перевод — значит принять вызов. И если ты любишь язык, то вызов в том заключается прежде всего, чтобы предоставить читателю возможность полакомиться совершенно новым блюдом. Вызов замечательный и сводящий с ума — в буквальном смысле слова. Я знаю об одном переводчике Фолкнера, который лишился рассудка и был отправлен в психиатрическую клинику: ему не удавалось, как он считал, достойным образом передать слог великого американского писателя на русском языке. Фолкнер, как вы знаете, писал прозу. Попытка же переводить стихи — это свидетельство и отваги, и любви, достойное благодарной памяти. Эдуарду Фицджеральду, одарившему Англию своим блестящим переводом рубайатов Омара Хаяма, поставили в Лондоне памятник. Он, совершивший литературный подвиг, вполне это заслужил.

Мое сближение с литературным миром причудливым образом усилило мой интерес к миру окружающему. В тот период, казалось, возрождалось советское общество. Все началось с выступления Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС, с разоблачения культа личности И. В. Сталина. Думалось, только этого и ждала страна, чтобы рвануться вперед, вырваться из сковавших ее идеологических пут. Поднялась мощная волна новых писателей, поэтов, художников, кино- и театральных режиссеров, композиторов, хотя, конечно, это было несравнимо с ситуацией начала XX века. То было время надежд, время, породившее

знаменитых «шестидесятников», людей, веривших в идеалы социализма и коммунизма, идеалистов, но не фанатиков, не безумцев; это было время, когда верилось: вот-вот наступит та замечательная жизнь, о которой мечтали наши отцы и деды, вот она, за углом, осталось сделать лишь несколько шагов. Впрочем, это было время противоречивое. Я помню Маршака, возмущенного преследованиями никому тогда не известного поэта Иосифа Бродского. Самуил Яковлевич категорически не соглашался с теми, кто утверждал: коль Бродский не член Союза писателей СССР, то он не может считаться профессиональным поэтом и, следовательно, является тунеядцем, поскольку нигде не работает. Вообще-то, Бродский зарабатывал тогда на жизнь переводами, но преследовавшие его власти отказывались признавать, что это работа (нет трудовой книжки, значит, не работает – и точка). Преследовали Бродского за то, о чем он писал, за его мысли, а потому и не существовало защиты, не действовала логика, не было приемлемых аргументов. Чем это кончилось, все помнят: страна потеряла Бродского, потеряла его точно так же, как сонм блестящих художников, ученых, писателей, которым было невозможно дальше жить в этом удушливом государстве, провозгласившем, что «искусство должно быть понятно народу» (лозунг был приписан Розе Люксембург, которая на самом деле сказала, что «искусство должно быть *понято* народом»). Должно быть *понято*, а не *понятно*).

Вместе с тем это был период так называемой «оттепе-

ли». Он был отмечен романом Дудинцева «Не хлебом единым» (ныне он забыт, но тогда его воспринимали как манифест, им зачитывались все), «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына, поэмами Твардовского, публикациями возглавляемого им журнала «Новый мир», рождением Театра на Таганке под руководством Юрия Петровича Любимова и, разумеется, ныне тоже забытой книгой Ильи Эренбурга «Оттепель», давшей этому времени свое название. Однако тогда же было потоплено в крови венгерское восстание, десять лет лагерей получила группа Краснопевцева за то, что они, студенты исторического факультета МГУ, стали выпускать подпольную газету, в которой критиковали основы советской системы; тогда же родилось слово «диссидент» и состоялся первый суд – вернее, судилище – над диссидентами Синявским и Даниелем. Да, время было противоречивое, но атмосфера наполнилась надеждами и ожиданиями, великими свершениями. В те годы я впервые (и в последний раз) стал свидетелем спонтанных изъятий воли тысяч и тысяч людей, вышедших на демонстрации самостоятельно, чтобы выразить свой восторг, свою поддержку чему-либо. Мне, правда, говорили, что подобные массовые волеизъявления были вполне обычными в сталинское время, что Первого мая и Седьмого ноября сотни тысяч москвичей шли торжественным маршем через Красную площадь, чтобы собственными глазами увидеть «великого Сталина». Может быть. После его смерти парады стали пустой формальностью.

Дважды я принимал участие в таких парадах. Первый раз, когда еще был студентом биофака, второй – через много лет, уже работая в Гостелерадио СССР. В обоих случаях меня назначили правофланговым, то есть тем человеком, который проходит в шеренге ближе всего к Мавзолею. Правофланговый смотрит прямо вперед, все остальные равняются по нему, от него зависит, как будет выглядеть шеренга. Словом, быть правофланговым – своего рода честь. Кроме того, положено проходить некоторую подготовку, которая совершенно не имеет отношения к строевой. В частности, когда я готовился к участию в последнем в моей жизни параде (насчет последнего – это я заявляю твердо), меня пригласили на партийное собрание «для правофланговых». Каждому из нас вручили лозунг, который надо было запомнить и потом, проходя перед трибунами на Красной площади, проорать во все горло, после чего «твоя» шеренга должна взречься «УууууууууPPPPPaааааааа!» Эти лозунги отличались предельной тупостью, для нормального человека произносить такие вещи – уж не говорю кричать – просто оскорбительно. Я, например, получил лозунг «Да здравствуют советские женщины!». Я сказал, что орать такую белиберду отказываюсь. После недолгого спора парткомовец отстал от меня, рассудив, что в общем реве Красной площади никто не заметит, кричу я со всеми или нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.